

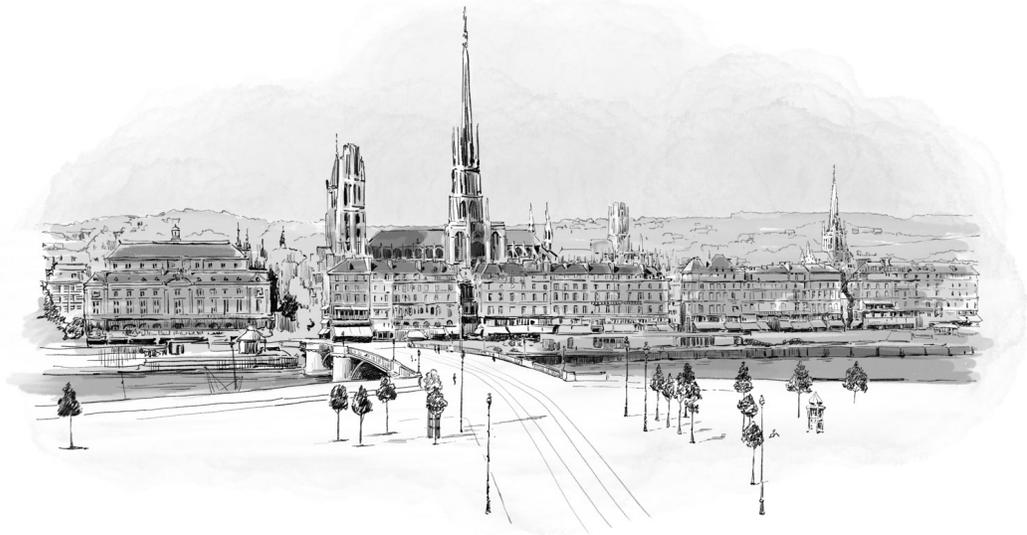


*Едва ли был другой писатель, столь
искренне считавший, что все благо, весь
смысл жизни — в женщине, в любви...*

Лев Толстой

(Из предисловия к сборнику рассказов
Ги де Мопассана)





Несколько дней подряд через город проходили остатки разбитой армии. Это было не войско, а беспорядочные орды. У солдат отросли длинные неопрятные бороды, мундиры их были изорваны; двигались они вялым шагом, без знамен, вразброд. Все они были явно подавлены, измучены, не способны ни мыслить, ни действовать и шагали только по инерции, падая от усталости при первой же остановке. Особенно много было ополченцев — мирных людей, безобидных рантье, изнемогавших под тяжестью винтовки, и резервистов, в равной мере доступных страху и воодушевлению, готовых и к атаке и к бегству; кое-где среди них мелькали красные шаровары — остатки дивизии, искрошенной в большом сражении; в ряду с пехотинцами различных полков попадались и мрачные артиллеристы, а изредка — блестящая каска драгуна,

который с трудом поспевал тяжелой поступью за более легким шагом пехоты.

Проходили и дружины вольных стрелков с героическими наименованиями: «Мстители за поражение», «Причастники смерти», «Граждане могилы», но вид у них был самый разбойничий.

Их начальники, еще недавно торговавшие сукнами или зерном, бывшие продавцы сала или мыла, случайные воины, произведенные в офицеры за деньги или за длинные усы, облаченные в мундиры с галунами и увешанные оружием, шумно разглагольствовали, обсуждали планы кампании, самодовольно утверждая, что их плечи — единственная опора гибнущей Франции, а между тем они нередко опасались своих же собственных солдат, подчас не в меру храбрых, — висельников, грабителей и распутников.

Поговаривали, что пруссаки вот-вот вступят в Руан.

Национальная гвардия, которая последние два месяца производила весьма осторожную разведку в соседних лесах, — причем иногда подстреливала своих собственных часовых и начинала готовиться к бою, стоило только какому-нибудь зайчонку завестись в кустах, — теперь вернулась к домашним очагам. Ее оружие, мундиры, все смертоносное снаряжение, которым она еще недавно пугала верстовые столбы больших дорог на три лье в округности, внезапно куда-то исчезло.

Последние французские солдаты переправились наконец через Сену, следуя в Понт-Одемер



через Сен-Севэр и Бур-Ашар; а позади всех, пешком, плелся генерал с двумя адъютантами; он совершенно пал духом, не знал, что предпринять с такими разрозненными кучками людей, он и сам был ошеломлен великим поражением народа, привыкшего побеждать и безнадежно разбитого, несмотря на свою легендарную храбрость.

Затем над городом нависла глубокая тишина, безмолвное, жуткое ожидание. Многие буржуа, разжиревшие и утратившие всякую мужественность у себя за прилавком, с тревогой ждали победителей, боясь, как бы не сочли за оружие их вертела для жаркого и большие кухонные ножи.

Жизнь, казалось, замерла; лавочки закрылись, улицы стали безмолвны. Изредка вдоль стен торопливо пробирался прохожий, напуганный этой зловещей тишиной.

Ожидание было томительно, хотелось, чтобы уж поскорее появился неприятель.

На другой день после ухода французских войск, к вечеру, по городу промчалось несколько уланов, прискакавших неизвестно откуда. А немного позже по склону Сент-Катрин скатилась черная лавина; два других потока хлынули со стороны дарнетальской и бугийомской дорог. Авангарды трех



корпусов одновременно появились на площади у ратуши, и по всем соседним улицам развернутыми батальонами стала прибывать немецкая армия; мостовая гудела от размеренной солдатской поступи.

Слова команды, выкрикиваемые непривычными гортанными голосами, разносились вдоль домов, которые казались вымершими и покинутыми, а между тем из-за прикрытых ставен чьи-то глаза украдкой разглядывали победителей, людей, ставших «по праву войны» хозяевами города, имущества и жизней. Обыватели, сидевшие в полутемных комнатах, были охвачены тем ужасом, какой вызывают стихийные бедствия, великие и разрушительные геологические перевороты, перед лицом которых бессильны вся мудрость и мощь человека. Одно и то же чувство возникает всякий раз, когда ниспровергается установленный порядок, когда утрачивается сознание безопасности, когда все, что охранялось человеческими законами или законами природы, оказывается во власти бессмысленной, яростной силы. Землетрясение, погребавшее горожан под развалинами зданий, разлив реки, влекущей утонувших крестьян вместе с трупами волов и сорванными стропилами крыш, или победоносная армия, которая истребляет всех, кто защищается, уводит остальных в плен, грабит во имя Меча и под грохот пушек возносит благодарение какому-то божеству, — все это страшные бичи, подрывающие веру в извечную справедливость

и во внушаемое нам с детства упование на благодать небес и разум человека.

Но у каждой двери уже стучались, а потом входили в дома небольшие отряды. За нашествием следовала оккупация. У побежденных оказывалась новая обязанность: проявлять любезность к победителям.

Прошло некоторое время, утих первый порыв страха, и снова воцарилось спокойствие. Во многих семьях прусский офицер ел за общим столом. Иной раз это был благовоспитанный человек; он из вежливости жалел Францию, говорил, что ему тяжело участвовать в этой войне. Немцу были признательны за такие чувства; к тому же в любой день могло понадобиться его покровительство. Угождая ему, пожалуй, можно избавиться от постоя нескольких лишних солдат. Да и к чему задевать человека, от которого всецело зависишь? Ведь это было бы скорее безрассудство, чем храбрость. А руанские буржуа уже давно не страдают безрассудством, как во времена героических оборон, прославивших этот город. И наконец, каждый приводил неоспоримый довод, подсказанный французской учтивостью: у себя дома вполне допустимо быть вежливым с иноземным солдатом, лишь бы на людях не выказывать близости с ним. На улице его не узнавали, зато дома охотно беседовали с ним, и немец день ото дня все дольше засиживался по вечерам, греясь у семейного камелька.

Город мало-помалу принимал обычный вид. Французы еще избегали выходить из дому, зато улицы кишели прусскими солдатами. Впрочем, офицеры голубых гусар, заносчиво волочившие по тротуарам свои длинные орудия смерти, по-видимому, презирали простых горожан немногим больше, чем офицеры французских егерей, кутившие в тех же кофейнях год тому назад.

И все же в воздухе чувствовалось нечто неувловимое и непривычное, тяжелая, чуждая атмосфера, словно разлитой повсюду запах — запах нашествия. Он заполнял жилища и общественные места, сообщал особый привкус кушаньям, порождал такое ощущение, будто путешествуешь по далекой-далекой стране, среди кровавых диких племен.

Победители требовали денег, много денег. Обывателям приходилось платить без конца; впрочем, они были богаты. Но чем состоятельнее нормандский коммерсант, тем сильнее страдает он от малейшего ущерба, от сознания, что малейшая крупинка его достояния переходит в чужие руки.

А между тем за городом, в двух-трех лье вниз по течению, возле Круассе, Дьепдаля или Бьессара, лодочники и рыбаки не раз вылавливали с речного дна вздувшиеся трупы немцев в мундирах, то убитых кулаком, то зарезанных, то с проломленной камнем головой, то просто сброшенных в воду с моста. Речной ил окутывал саваном эти жертвы тайной, дикой и законной мести,



безвестного героизма, бесшумных нападений, более опасных, чем сражения среди бела дня, и лишенных ореола славы.

Ибо ненависть к Чужеземцу искони вооружает горсть Бесстрашных, готовых умереть за Идею.

Но так как завоеватели, хотя и подчинившие город своей непреклонной дисциплине, все же не совершили ни одной из чудовищных жестокостей, которые молва неизменно приписывала им во время их победоносного шествия, — жители в конце концов осмелели, и потребность торговых сделок снова ожила в сердцах местных коммерсантов. Некоторые из них были связаны крупными денежными интересами с Гавром, занятым французской армией, и вздумали сделать попытку пробраться в этот порт, — доехать сушею до Дьеппа, а там сесть на пароход.

Было использовано влияние знакомых немецких офицеров, и комендант города дал разрешение на выезд.

Для этого путешествия, на которое записалось десять человек, был нанят большой дилижанс с четверкой лошадей, и решено было выехать во вторник утром, до рассвета, чтобы избежать всякого рода сборищ.

За последние дни мороз уже сковал землю, а в понедельник около трех часов с севера надвинулись большие черные тучи и принесли с собой снег, который шел непрерывно весь вечер и всю ночь.

Утром в половине пятого путешественники собрались во дворе «Нормандской гостиницы», где они должны были сесть в карету.

Они еще не совсем проснулись и кутались в пледы, дрожа от холода. В темноте они еле различали друг друга, а тяжелые зимние одежды делали их всех похожими на тучных кюре в длинных сутанах. Но вот двое мужчин узнали друг друга, к ним подошел третий, и они разговорились.

— Я еду с женой, — сказал один из них.

— Я тоже.

— И я тоже.

Первый добавил:

— В Руан мы уже не вернемся, а если пруссаки подойдут к Гавру, переедем в Англию.

У всех были одинаковые намерения, так как это были люди одного склада.

А карету между тем все не закладывали. Фонарик конюха время от времени показывался из одной темной двери и немедленно исчезал в другой. Из глубины конюшни доносились лошадиный топот, приглушенный навозом и соломенной подстилкой, и мужской голос, уговаривавший и бранивший лошадей. По легкому позвякиванию бубенчиков можно было догадаться, что прилаживают сбрую; позвякивание вскоре перешло в отчетливый, непрерывный звон, отвечавший размеренным движениям лошади; иногда он замирал, затем возобновлялся после резкого рывка, сопровождавшегося глухим стуком подкованного копыта о землю.



